



ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕВОДА. БАЛТИЯ

Александр Чак

**ЗЕРКАЛА ФАНТАЗИИ**

# Александр Чак

## Зеркала фантазии

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=27052053](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27052053)*

*Зеркала фантазии:  
ISBN 978-5-91627-099-0*

### Аннотация

Латышский поэт Александр Чак (Aleksandrs Čaks, 1901–50) в своих прекрасных стихах почти всегда надевает маску. То грустного клоуна, то жигана из предместий, то денди и плейбоя – завсегдатая клубов... Образ настолько срастается с ним, что мы говорим: «чаковское настроение», «стилизированный под Чака интерьер», «девушки в духе Чака», «бульвары а-ля Чак». Кажется, даже улица Марияс, приняв его имя, стала улицей-чак; башмаки шаг за шагом вышаркивают чакиану.

# Содержание

Алакрез Александра Чака	15
Улица Марияс	22
Мой друг	24
В своем праве	25
Встреча	26
Угольщик	28
Лаковые туфли	30
Китаец, знавший латышский	32
Я и поезд	34
Пацанская песенка	36
Патетические кварты	37
Улицам	39
Стрелок латышской девушке	40
Мороженое	42
Сегодня вечером	44
Современная сказка	45
В библиотеке	47
Тебе	49
Продавщица	51
Цыган и его песня	53
Цыганская свадьба	54
Поцелуй	56
Заблудившийся	58

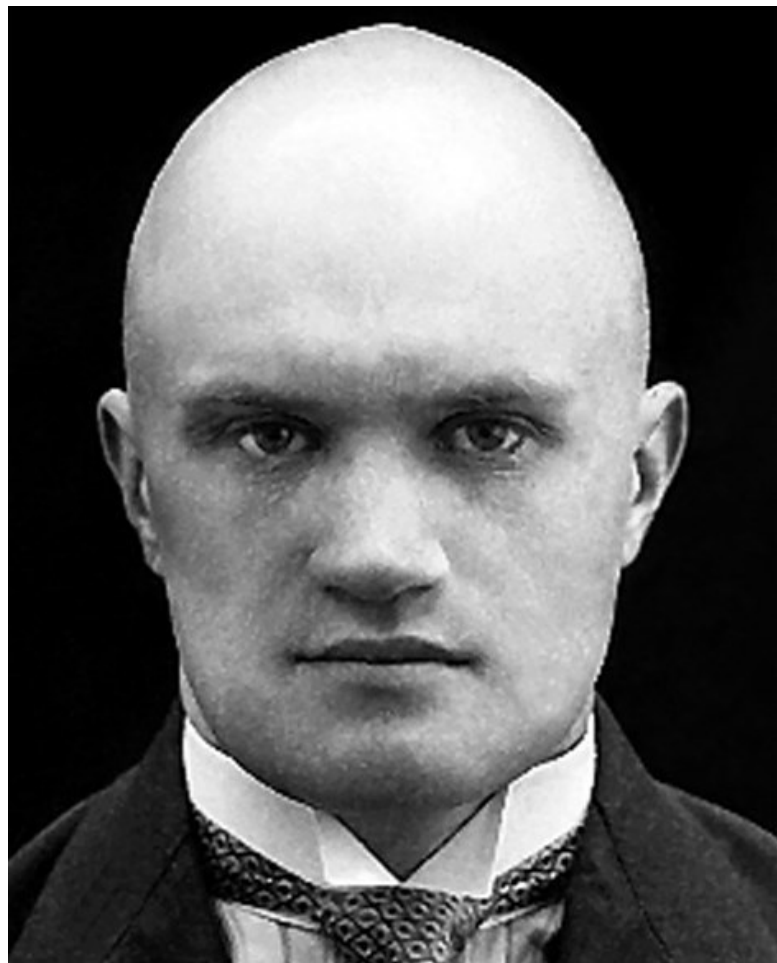
Прощание с окраиной	59
Современная девушка	60
Я и дама	62
Две вариации	65
Еврейка	74
Кольцо	76
Двухчасовой перевод из жизни А. Ч	79
Вийону	81
Стихи о том, где я буду сегодня вечером	85
Это ли счастье	87
Конец ознакомительного фрагмента.	89

# Александр Чак Зеркала фантазии



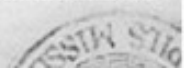


*Milda*





A. ČAKS



*Austra*





*Angelika*









# Алакрез Александра Чака

Спектакль “Гамлет” московского театра “Около” под руководством Юрия Погребничко начинается с того, что зрители видят на сцене обычный стул, на котором стоит портрет Иннокентия Смоктуновского. А слышат они его записанный на пленку голос в сопровождении архаичных шорохов и потрескиваний: «Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достоинство ль...»

Когда смотришь этот спектакль во второй или в третий раз, понимаешь: таким способом режиссер не только и не столько отдает дань великому актеру в великой роли (для тех, кто не представляет, о чем я – “Гамлет” 1964 года от Григория Козинцева, с величественной латышской красавицей Элзой Радзиной в роли Гертруды, доступен на CD и на торрентах), сколько признается собравшейся публике в том, что в классическом ключе “Гамлет” уже решен – надолго, если не навсегда. И у него, Погребничко, остается широкий выбор сценических цитат и узкое поле деятельности, где еще можно попытаться найти новые краски и дать новый ход старой интриге: свести несводимые концы, связать распавшуюся связь; вправить на место вывихнутый, согласно Шекспиру, сустав времени.

Я хотел бы предварить эту небольшую книжку Александра Чака виртуальным портретом переводчика Владими-

ра Невского. Он открыл Чака русскому читателю и разметил пространство русского Чака настолько детально (для тех, кто опять-таки не представляет, о чем я – во многих библиотеках Латвии найдется от одного до пяти сборников: “На высоком берегу”, 1949; “Лестницы”, 1964; “Сердце на тротуаре”, 1966; “Зеркала воображения”, 1981; “Соловей поет басом”, 1986), что, несмотря на объективную необходимость периодического обновления переводов – в связи со сменой поколений, эпохи, поэтического языка, сегодняшнему переводчику Чака практически нечего делать. Кажется, что Чак уже переведен (на русский) – если не навсегда, то надолго.

«Напротив шикарного бара упала извозчичья лошадь. На грязном снегу, меж оглобель, лежала совсем как в кровати, с коричневой пеной на морде, как будто пила она пиво». – «Ну ладно, пошли на твою верхотуру, где пахнет курами в коридоре. Будем сидеть всю ночь на полу на старой твоей шинели – пятна крови, как краска, на ней затвердели». – «По вечерам не сиди у ворот, дорогая глядя на звезды: они, как поэты, светятся лишь после смерти». Шорохи, скрипы, потрескивания...

Петербуржец Владимир Зуккау (1911–68), сын расстрелянного в 1937 году Герберта Августовича Зуккау, более всего известного по переводу “Похождений бравого солдата Швейка” (совместно с женой, Алисой Германовной Невской-Зуккау, погибшей во время блокады Ленинграда), принявший фамилию Зуккау-Невский. В тридцать седьмом

также был арестован, но вскоре освобожден. Выполнял поэтический соцзаказ (прославлял героев первой пятилетки), воевал, переводил с английского и немецкого (например, сочиненный Иоганнесом Бехером гимн ГДР), сочинял детские стихи. С конца сороковых – просто Невский; по-видимому, тогда же встречается с поэзией Чака. В 1950 году переезжает в Ригу, где и происходит то Нечто (Etwas! – воскликнуло бы всё семейство Зуккау), после чего.

В. Невский редактировал “Антологию латышской поэзии”, переводил братьев Каудзитес и Павила Розитса, но это не важно. Я ставлю на воображаемый стул его воображаемый портрет, и с наслаждением повторяю (из “Лестниц” двадцать седьмого): «Морщинки дерево избороздили, / Но не от старости: нет, чьи-то ногти / Их процарапали произвольно. / Перила знают руку подхалима / И ласку дамской лайковой перчатки; / Шершавостью и кислым жаром пота / Знакома им рабочая рука; / Знакома вкрадчивая хватка вора / И дрожь ладоней женщины, чье тело / Ворованные поцелуи жгут». И пусть здесь слышится явная поступь гумилевского Слоненка, пускай “перчатку” придумал сам Невский, оказавшийся куртуазнее Чака (в оригинале «легкая и сладкая ласка женских пальцев»; слов *ciņds* – перчатка и *ciņdota roka* – гангированная, “оперчаточенная” рука, несмотря на их эротическую силу, словарь поэта не знает, кажется), но.

Карлис Вердыньш писал: «Судите сами: в Европе и Америке в те годы пышным цветом расцветает модернистская

поэзия, во Франции сюрреалисты сменяют дадаистов, в России отбушевали и понемногу сводимы на нет футуристы, имажинисты, конструктивисты и всякие прочие чуды, даже чешские и польские поэты всю чешут без знаков пунктуации. Но в Латвии? Сидят себе несчастные неоромантики, воспевают печаль и смерть своим излюбленным четырехстопным ямбом, да к тому же еще мечтают, насмотревшись кинолент, о тропиках и Китае. Не будь Судрабкална, Чака и немногих других – яростных, вечно жаждущих и тревожных, впору было бы помереть со скуки, вовсе не от тоски».

Надо сказать, что (хотя на самом деле никто ничего не знает!), согласно официальным биографиям, реальная жизнь поэтических бунтарей вроде Готфрида Бенна или Владимира Маяковского не намного трагичнее, а то и вовсе не столь трагична, как скромная жизнь романтических “тихушников” типа Валдиса Гревиньша и Александра Чака. Те же войны, те же ссылки и лагеря, тот же “Морг и другие стихотворения” (название сборника Бенна, которым тот приветствовал наступление 1913 года).

Однако с течением лет по отношению и к тем, и к другим (конечно же, будем помнить об условности этого разделения) набирает силу некий оптический парадокс – я бы назвал его “обратным эффектом зеркала». В то время, как по стихам, изломанным формально, по их экспрессионистски искореженным строчкам можно делать моментальные слепки времени, проявляющегося то вспышками, то штрихами

и пуантами, в стихах уравновешенных и традиционных все резче проступают – с увеличением дистанции – фундаментальные черты эпохи: быт, голоса, лица, “бугры голов” (сказал бы Мандельштам); ее кухня, мода, музыка; позиции и оппозиции. Такое ощущение, что консервативная форма оказывается лучшим зеркалом, с более чистой оптикой – хотя и с большей глубиной резкости (меньшей глубиной фокуса), так что вглядываться в него нужно дольше.

Когда же сходятся два внутренних надлома, надежно замуфлированных, по Б. Равдину, “обухгалтериванием” образа – о! Вот Чак, кутающийся в шинель стрелка – *меня глубоко в землю зарыли*. Вот Невский, прячущийся в свою память – *надо в землю по пояс уйти*. Вот они схлестнулись – на поле стихотворения “Мольба” (Lūgšana, 1925), в сборнике 1932 года озаглавленного “Я и месяц” (Es un mēness). Обратный отсчет – взрыв! Смотрите – сочный латышский текст с некоторой двусмысленностью в третьей строке: «Mēness, / tu / visu kaislību dzeltēnais simbols, / ko izverd nakts» (Месяц, ты желтый символ всех страстей, что извергает ночь), – практически изблевывается Невским. Более чем однозначно: «Месяц, / ты – *выкидьши* ночи, / желтый символ страстей».

Анализируя различные “чарты и топы” русской поэзии – особенно ранжированные по конкретным стихам, а не по авторам, мы очень редко найдем в них строфы живых (живущих) поэтов. Я могу объяснить это лишь инфантильностью вкуса и восприятия, не желающих, а то и не умеющих впу-

стить в себя – принять, как родное – стихотворение близкой по времени живой души. В Латвии не так. Тут любят актуальное слово – на слуху и на языке Залите, Зиедонис, Золотов (Bird Lives!). И то, что сегодня стихи Чака дороги и нужны читателю, означает их реальную конкурентоспособность, что Чак надолго – и навсегда.

Четыре года назад концепцией книжки было: собрать переводы, сделанные пятью практикующими рижскими поэтами и мной. Однако в декабре девятого года умирает Владимир Глушенков, а в мае двенадцатого – Людмила Азарова. Тем не менее – вот сорок текстов. Хочется думать – переводы ныне здравствующих (стучу по дереву) переводчиков, а также классические версии *чакианы* Л. Азаровой и переложения-импровизации В. Глушенкова (“ЧАКстилище”, 2002–03) послужат каплями амальгамы для зеркал эпохи.

И еще. Я думаю о сохраняющейся по сей день определенной шизоидности нашего балто-славянского социума. Когда уже не знаешь, что хуже: ежесекундно сканировать, как практически всё в стране – быт, культура, политика – разнесено по двум полюсам, или забить на это – забыть, отключиться. Притерпеться, счесть нормальным... А Чак – это шанс. Один из немногих вариантов, по-моему, найти какие-то точки: если не соприкосновения, то хотя бы пересечения; если не в настоящем, то хотя бы в прошлом – ради будущего.

«Так в зеркале преподнесенной чаши / Внезапно отразит

мои уста / Эпоха, ослепительно чиста / Тугим холстом сми-  
рительной рубашки» (Григорий Гондельман).

*Составитель*

# Улица Марияс

О, улица Марияс,  
монополия  
еврейских пройдох  
и ночных мотыльков –  
дай, я восславлю тебя  
в куплетах долгих и ладных,  
как шеи жирафов.

Улица Марияс –  
бессовестная торговка –  
при луне и при солнце  
ты продаешь и скупаешь  
все,  
начиная с отбросов  
и кончая божественной человеческой плотью.

О, я знаю,  
что в теле твоём дрожащем  
есть что-то от нашего века –  
душе моей – коже змеиной –  
до боли родное;  
полна звериной тревоги,  
ты бьешься, как лошадь в схватках,  
как язык пса,

которому жарко.

О, улица Марияс!

# Мой друг

На улице Школьной, на пятом  
этаже, над чопорными апартаментами,  
друг мой живет.

Друг отличный. Зубрит себе право да служит  
телеграфистом. Морзянку отстукивает,  
радость и грусть отбивает, будто чечетку.

Я, бывает, сиживаю у него в сумерках. В той  
комнате, где жмутся по стенам кровати, с комодом  
в углу. Там уют, там хлеб, колбаса и вода  
из Кельна, вперемешку с зубными щетками.

Его страсть к жизни, право, сильнее, чем моя  
к ней ненависть; страсть к женщинам,  
к солнцу, стихам.

Сердце при виде него покидает тяжесть, оно  
хочет верить.

# В своем праве

На углу бульвара, где стоят ряды блестящих авто и  
неспешно плывут трамваи,  
Вокруг мужчины большого и грузного стайка маль-  
чишек вертелась, руками махая.  
Была весна, небеса голубели, как глаза у мужчины,  
и водка в бутылке его была дешевого сорта.  
Дым прокопченный, запахи, взвизги сирен облака-  
ми черными плыли прямо из порта.  
Была весна, и вечер субботы и денег хватало на  
пиво и девушек самых нестрогих, а потом бы  
сойтись в рукопашной.  
Чтоб в старости в доме для бедных на скрипящей  
кровати над тарелкой с селедкой не охать, что  
молодость выдалась зряшной.

# Встреча

Он ждал меня на рельсах у Агенскалнса, но дело кончилось протоколом, когда он приложил меня за то, что я увел его девушку.

Он был молотобойцем в маленькой кузне. Весь его скарб это старая койка да стол с сосиской, и пивом, и пресной кашей в засаленной плошке, преснее, чем его жизнь. Халупа его на окраине, где песок, и сосны, и синее небо.

Одно было счастье, субботний вечер в Аркадии, где тир да люстгауз, да девушки, крепкие и беззаботные, будто мечты, будто деревья вокруг, будто цветы во дворе его дома.

А он любил свою жизнь, простую, как труд, тяжелый и монотонный, будто молот, который он заносил над своей головой каждый день от рассветов до золотистых закатов.

Он меня приложил за то, что я увел его девушку, за то, что видал меня среди этих, кого ненавидел сильнее, чем безысходные будни.

А он был красив, как природа, как всё, чем нас обделили, блажен, будто музыка Моцарта, и его комната на безнадежной окраине, где синее небо и сосны, была отлично знакома девчонкам, как в детстве дорога в церковь.

И он понравился мне, я бы тоже хотел бы уметь так бить, хотел быть таким же бешеным, будто солнце и ветер, и быстрым, как мелькнувший мимо нас поезд.

Он был безбашенным ветром, сорванным поцелуем, солнцем, каждое утро крадущим землю у ночи.

# Угольщик

Телега скрипучая  
Двигается, как катафалк, –  
Заика медлительный средь трепачей,  
Полная угля.  
Тощая лошаденка тащит воз.

«Портные,  
Швеи,  
Скорей за мешками!  
Прачки,  
Оставьте лохани,  
Живей хватайте корзины:  
Угольщик едет!»

Веселый, как повар,  
Молодой и могучий, словно стрелок,  
С лицом мавра,  
Он сидит на возу  
И кричит.

Великолепен и гулок  
Голос его  
Средь шатких заборов и каменных стен.  
Оконные стекла жужжат, как мухи,

Дзинькают, словно сантим на асфальте.

Старушка в чепце,  
Вздвогнув,  
Хватается крепче за палку.  
Морщится бюргер.

Кухарка с толстыми икрами,  
Идущая с рынка,  
В восторге:  
«Вот это парень что надо!  
Горло – сирена,  
Грудь, как мехи, как своды,  
Жаль, нет корзинки с собою!»  
Стайки школьников  
Вдруг умолкают,  
С серьезными лицами  
Стоят у обочины вдоль водостоков  
И наблюдают – едет...

«Портные,  
Швей,  
Скорей за мешками!  
Прачки,  
Оставьте лохани,  
Живей хватайте корзины:  
Угольщик едет!»

# Лаковые туфли

На бульваре  
меж двух рядов фонарей  
и подстриженных лип  
повстречал я матроса  
в лаковых туфлях,  
блестящих и острых, как пики,  
с грудью точно раздувшийся парус.

А лицо было темным  
как медные деньги  
и как полированный шкаф  
из мореного дуба,  
и шел он,  
как ходит волна перед штормом.

Уж наверное,  
был он любовником пылким,  
у которого нрав,  
как шипучка,  
как порох.  
И который передышки не просит.

А кошачьи глаза его  
зелень листьев смешали

с рыжей ржавчиной  
и синевой.

И кошачьи глаза его  
были бесстыжими,  
как две бабенки,  
как собаки ночами апреля.

Он едва сошел с корабля  
и, что хлеба, он жаждал любви.  
С ним шагали по городу запахи  
дегтя, сельди и свежего моря,  
привезенные в Ригу из Гента.

Он едва сошел с корабля  
и шагал в лакированных туфлях,  
ведь был, как бассейн переполнен,  
и женского тела жаждал.

# Китаец, знавший латышский

В рюмочной,  
на улице Дзирнаву,  
где ночами  
покупают хуторяне любовь,  
половой-китаец  
разносил пиво  
и говорил по-латышски,  
кланяясь по-китайски низко.

Косу  
в полметра длиной,  
смолисто-черную,  
как антрацит  
и столярный деготь,  
он с китайской покладистостью  
пожертвовал моде Европы  
на все короткое.

И, согнувшись втрое,  
он шептал прямо в ухо  
про маленький погреб  
с чудесными трубками,  
в переулке Вецриги,  
кривом и узком,

как его взгляд.

Он шептал на ухо  
так легко и тихо,  
как ползла бы муха  
по мраморной стойке.  
И, оскалив зубы,  
белые, как в киноленте,  
он тянул ладошку  
за медным спасибо  
за сладкую и секретную весть.

# Я и поезд

Ночь.

Вокзал.

Качаются желтые лампы.

Кондуктор свистнул в десятый раз,  
но поезд стоит.

Кондуктор свистнул в одиннадцатый раз –  
стоит.

Я,

сидя в вагоне, маленьком, как хлебец из ресторана,  
чиркаю спичкой в десятый раз, но она гаснет.  
я чиркаю спичкой в одиннадцатый раз –  
то же самое.

Тогда я распахиваю окно,  
чтобы вдохнуть свежий воздух,  
тогда я распахиваю окно,  
чтобы поднять машиниста.

Поезд свистит и трогается,  
заглатывая свежий воздух,  
спичка вспыхивает жарко,

как сердце.

# Пацанская песенка

Этой ночью лишь тебя люблю я,  
И до завтра мне другой не надо.  
Подойди-ка, вместо поцелуя  
Смачно я влеплю шлепка по заду!

Бросить мне тебя здесь не пристало,  
Даже с тем вон, что танцует в маске.  
За тебя держусь я как, бывало,  
я держался за винтовку с каской.

Выпей рюмку, пусть хмелеют очи.  
Эту грусть собьет нахальный джимми.  
Наплевать, что с ложа этой ночи  
Оба мы поднимемся больными.

Наплевать, что голод ждет нас где-то,  
Здесь рассудок слушается сердца.  
Эту ночь придется до рассвета  
Выпить всю – нам никуда ни деться.

# Патетические кварты

Кучера дорогих перекрестков  
непутевой дороги, где вы?  
Стенобитное сердце извѣстки  
Лужи высохли (обнажены)

И не скоро привратник ключами  
И не скоро вольфрамовы нити  
И закат будет сколот – в граните  
Пожимание песен плечами

Забуксует проезжие части транспорт  
каменных строчек стихами  
Босоногое детство дразнит  
и – глотает меня с потрохами

Мне позволено будет высоко  
с гроба видеть паденье листа  
и витрин глубоких окна  
(флюгель в мягкие места)

Вдруг вечер перепутан ливнем  
и близоруким – глаз сиянье  
Единорог – шурупит бивнем  
и не рассечь сердец слиянье

В дудку дуют – в свирель или флейту

Асфальтирован оркестрик

Из-под юбок ножки фрейлин

меж грудей – в ложбинке крестик

# Улицам

Какого ж черта распеваю вам песни  
не для рюмки фимиама  
вечный шухер вечно с вами  
сердце-почка лепестками тресни

Улицы улицам везет а у лиц тоска  
луж босоногих весны – я сам осенний  
матушка в колясочке – сосунка  
не ввезет меня в сени

Шин редких авто птичьих шажков  
не каблучков покамест ручейков-бенчиков  
некогда укурен был листвою  
пенной лип омыт как пеною пивною

А когда мне стало быть от вас пора того  
больно – как нигде и никогда ни у кого  
вы – мой чемодан без ручки  
ног не чуя – на последней электричке

# Стрелок латышской девушке

Когда тебе взгрустнется, дружок,  
не иди,  
не иди ты на Бастионку, в круглое кафе наверху:  
в нем сидят нынче дамы,  
пахнущие дорожкой помадой,  
восточными эликсирами  
и сигарами своих мужчин.  
В нем еврей-скрипач неприлично смазлив,  
а юноши томны,  
часами корпя над единственной чашкой кофе,  
исподтишка наблюдают одиноких красавиц.  
... Не иди.

Когда тебе взгрустнется, дружок,  
давай ко мне.

У меня огрызок свечи  
воткнут в бутылку из-под бальзама,  
бурый ломберный столик,  
купленный мною вчера,  
и стакан дешевого рома.  
Давай.  
На пол для тебя свою постелю шинель,  
в окне для нас заблестит луна,

под соседской стрехой голубки заворкуют,  
а я спою тебе песни  
про море и про синицу.

Давай...

# Мороженое

Мороженое, мороженое!  
Как часто в трамвае  
ехал я без билета,  
чтобы только купить тебя!

Мороженое,  
твои вафли  
расцветают на всех углах города  
за карманную мелочь.

Твои вафли,  
волшебнo-желтые,  
как чайные розы в бульварных витринах,  
твои вафли,  
алые, как кровь,  
пунцовые,  
как дамские губы и ночные сигналы авто.

Мороженое,  
наилучшие перышки  
я продал ради тебя,  
самые редкие марки  
с тиграми, пестрыми, как афиша,  
жирафами длинными, тонкими, как радиобашни.

Мороженое,  
твой холод, возбуждающий, как эфир,  
я чувствовал  
острее,  
чем страх или губы девушек.

Ты,  
указатель возраста моей души,  
вместе с тобой  
я учился любить  
всю жизнь и ее тоску.

# Сегодня вечером

Сегодня мне хочется помечтать  
обо всем, что плывет над башнями.

На скамейке в сквере,  
там, где дребезжит трамвай,  
разве не чувствуешь ты  
запахов луга,  
мягких и обволакивающих, как дождь?  
Как смело березы  
    улетают там в небо  
в белых ночных рубашках.  
В хлевах вздыхают коровы.  
Пахнет жасмин.  
В сарайчиках, маленьких, как мой заработок,  
можно зарыться в сено,  
осыпающее поцелуями.

Сегодня мне хочется лишь мечтать  
и, мечтая, забыть  
о том, что опять нужны деньги,  
что истерты подметки  
и что завтра  
    я должен найти работу.

# Современная сказка

Сегодня,  
когда бесплатным  
остался лишь воздух  
в общественных туалетах  
да очереди  
    в городской ломбард  
    и билетные кассы,  
мы с друзьями  
забрали в кабачок,  
изысканный,  
    как паркет,  
где я пил пиво,  
горькое, как хинин,  
и слушал вальс  
    «Дунайские волны».

Затем – привстав –  
я запел.

Подскочивший слуга  
зашептал мне на ухо,  
что я не петушок,  
и что лучше мне сесть на место...

– Но... ведь я же свободен! –  
гаркнул я  
и, свалив его на пол,  
продолжал петь  
свою песнь – о любви.

И только радио  
оставалось спокойным,  
рассказывая в тот миг  
современную сказку –  
об одном  
дураке.

# В библиотеке

Нежная среди нежных,  
как мне звать Вас –  
Мадонной нашего века,  
Сольвейг,  
что слетела ко мне  
с трепещущих страниц Ибсена  
и уселась напротив?

Такая здесь  
тишина,  
как если бы тени поэтов  
баюкали в колыбельках  
боль  
и умы людей.

Придите  
туда, где в тени  
бульвара  
горит ресторан  
волшебной серьгой.

Ночь,  
музыка  
и Ваши глаза

словно крылья фламинго  
далеко от этой земли  
и ее забот  
о чулках и туфельках новых.

Придите!

Из рюмочек,  
крохотных,  
как страсть и девичья добродетель,  
станем мы пить  
ликер,  
сладкий, как всё,  
чего нет и, увы, не будет.

Поболтаем легко,  
с улыбкой,  
о вещах,  
что глубоки и святы.

Около двух  
мило простимся  
поцелуем,  
овеянным запахом губной помады,  
бесхитростно-легким,  
как концы современных романов.

# Тебе

Гаснет день. Стихает в кронах ветер,  
Траву долу клонит тяжким сном.  
Вот и я тебя опять не встретил  
Так, как прежде было решено.

Для чего же ты с улыбкой встречу  
Мне сулила на закате дня,  
Если знала ты, что в этот вечер  
Видеть рада вовсе не меня?

Вряд ли чем тревожит твои мысли,  
Тот, кто здесь извелся и продрог.  
Вечер мне навстречу ветер выслал,  
Тьма впитала молоко дорог.

Может быть, кто знает, даже лучше  
То, что я тобою вдруг забыт, –  
У меня друзья на этот случай  
Мрак и ночь, дорожные столбы.

Гаснет день. Стихает в кронах ветер.  
Траву долу клонит тяжким сном.  
Вот и нынче я тебя не встретил,  
Так, как прежде было решено.



# Продавщица

В красивейший магазин на бульваре  
Зашел, чтобы выбрать носки.

Мне их подавала  
барышня среднего роста  
овальными ноготками, блестящими, как маслины.

И руки,  
сортировавшие пачки,  
пахли патентованным мылом  
и какими-то духами среднего достатка.

Пожалуй, чуть великоват  
был вырез платья,  
ибо она была из тех,  
что после четвертой рюмки  
доканчивают сигарету партнера,  
рассказывают армянские анекдоты  
и целуются при свете.

Я, нагнувшись, шепнул ей:  
«Сегодня вечером в десять  
в Жокей-клубе,  
десятый столик от двери».

– Да, – сказала она  
и взяла за носки  
на двадцать сантиметров меньше.

# Цыган и его песня

Мордой в снег судьба чужая  
мысли в сторону – побег  
поцыганим обнимая  
денег нет

Нету денег  
океана нету – берег

И метлою – на коне  
За щекою прозы тени  
Голова стоит каре

жить фигня – умом химерим  
в дно упал – сюжет не мерян

# Цыганская свадьба

Цыгане в Шрейнбуше свадьбу играли,  
Айда, далла,  
Свадьбу играли.

Ну уж и свадьба, славная свадьба,  
Айда, далла,  
Славная свадьба.

Три ночи ели, три ночи пили,  
Айда, далла,  
Три ночи пили.

Зятю счастливому выбили зубы,  
Айда, далла,  
Выбили зубы.

Тестю под лестницей ногу сломали,  
Айда, далла,  
Ногу сломали.

Шаферу в пиво подкинули трубку,  
Айда, далла,  
Трубку швырнули.

Бренчали бубны, скрипка рыдала,  
Айда, далла,  
Скрипка рыдала.

В круг зазывала  
И танцевала  
Невеста, набросив красный платочек.

Жирные гости,  
Кожа да кости,  
Так напевали:

– Айда, далла,  
Ох, эти танцы.  
Танцы, танцы...  
Ай, дал-ла-ла.

# Поцелуй

Не сиди,  
друг, на лестнице:  
муравьями по телу  
пробегают прохлада,  
и звезды  
не сыплются больше в пруды,  
где их язычками  
хватали обычно лягушки.  
Видишь,  
в комнате хорошо.

Отдавая всю душу,  
темно-алые угли горят  
синим пламенем,  
как неочищенный спирт.

И поспешно тепло подымается вверх  
и хоронится под потолком,  
точно шар улетевший воздушный.

В нежной истоме  
ты сонно так дышишь,  
не противясь объятьям дивана.

И для гибкой фигуры твоей  
эта желтая ткань  
то же самое, что для вещи желанной –  
стекло магазинной витрины.

Воздух ожил в тепле  
и, лаская, теперь шевелит  
твои волосы  
и дверные гардины.

Где-то что-то невнятно  
обои прошелестели.

И за то,  
что ты здесь и со мной,  
я, ликуя,  
глазами  
целую тебя  
прямо в губы.

# Заблудившийся

Я – чемпион подворотен,  
Я – бывший жиган слободской.  
Туда, где играют фокстроты,  
Иду с затаенной тоской.

Ах, лучше бы квасом налиться  
У будки – стакан за сантим,  
Чем мучить в фокстроте девицу,  
Но знаю – назад не уйти.

Зачем ты погасло, предместье,  
Зачем отмерцало, как дым?..  
Веду себя вроде как все здесь,  
Но чувствую странно – чужим.

Так хочется скинуть мне фрак свой  
И лаковых пару штиблет,  
Свистеть, и скакать, и плевать  
На желтый, как масло, паркет.

# Прощание с окраиной

Окраины, со мною всюду вы.  
Я пил до дна хмельную вашу брагу,  
Чтоб мне за это мягкий шелк листвы  
Стер на губах оставшуюся влагу.

Я ухожу, и пусть речной песок  
Присыплет золотом мой след в полях бурьяна,  
Едва лишь вечер, нежен и высок,  
Откроет совам глаз сквозные раны.

Я не грущу – так сильно я устал.  
Вот только у забора на колени  
В последний раз упал и целовал  
Я золотые слезы на поленьях.

# Современная девушка

Я встретил ее  
на узенькой улочке,  
в темноте,  
где кошки шныряли  
и пахло помойкой.

А рядом на улице  
дудел лимузин,  
катясь к перекрестку,  
как будто  
играла губная гармошка.

И я повел ее – в парк –  
на фильм о ковбоях.

У нее  
был элегантный плащ  
и ноги хорошей формы.

Сидя с ней рядом,  
я вдыхал слабый запах  
резеды  
и гадал,  
кем бы она могла быть: –

парикмахершей,  
кассиршей в какой-нибудь бакалее?..

Трещал аппарат.  
Тьма пахла хвойным экстрактом,  
и она рассказала,  
что любит орехи,  
иногда папироску, секс,  
что видела виноград лишь за стеклом витрины,  
и что не знает,  
для чего она живет.

В дивертисменте  
после третьего номера  
она призналась,  
что я у нее буду, должно быть, четвертый любовник.

В час ночи  
у нее  
в комнатенке  
мы ели виноград  
и начали целоваться.

В два  
я уже славил Бога  
за то,  
что он создал Еву.

# Я и дама

Мой кабинет в трактире.  
За окнами ходят люди.  
У стойки куражится пьяный,  
А рядом поют: джим-лай-руды...

А у камина дама  
Грустит, на меня не глядя,  
Вся в алом, как кончик уха. –  
Поладим?

Но стоило только мне подмигнуть,  
Склонив в ее сторону голову,  
Как дама вылила на меня  
Презренья тусклое олово.

Потом скривила надменно губы –  
Увы, от меня далеко.  
А сквозь батист мерцают плечи –  
Она одета легко.

Подошвы туфель белы, как сметана.  
Их можно слизывать с ног.  
За соседним столиком подрались,  
Но мне все равно.

Ах, дама работает с 6 до 16,  
Как манекен, у окна.  
Так что ж, она станет в трактире ждать  
Любовника дотемна?

Этот вечер влетит в копеечку мне:  
пью рюмку за рюмкой, косяя;  
Но и дама не знает цены деньгам:  
Сидит на своем плиссе.

Что за запах прячет она на груди?..  
Я рою ноздрями норы,  
Но дух табака, алкоголя и пота  
Мне закупорил поры.

Она скрестила над столиком руки,  
Две стройных мерцающих вазы. –  
Может, плеснуть в них красной гвоздикой  
Изо всех моих рюмок разом?..

Преподнести ей в клещах фантазии  
Сердце широким жестом?  
Я в восхищенье привстал на ногах  
И не найду себе места.

Что-то мысли мои в голове  
Кружат, словно два голубка.  
Пол прогибается и скользит,

Как гнилая доска.

«— Пикколо, милый, хмельной туман,  
Как пыль, с моих глаз сотри!» —

«— Не стоит мальчишке, господин,  
Глупости говорить!»

Задымленный воздух вперед поплыл,  
Мой стол увлекая следом.  
Я свою даму сквозь алый батист  
Вижу нагой, как Леду.

Что ж я должен лишь сквозь одежду  
Взирать на то, что вижу?..  
Я мог бы гладить нежную плоть  
Рукой, как снег гладит лыжа.

Досада и горечь сердце стальным  
Обручем сжали туго.  
К даме моей какой-то молодчик  
Подходит шагом упругим.

Тогда я вытряхиваю на стол  
Салфетки, стоявшие в вазе,  
И живо набрасываю эти строки  
В злобном экстазе.

# Две вариации

## 1

Рига.

Ночь.

Желтки фонарей плавали в лужах.

Дождь

пересчитывал вишни в окрестных садах,  
выстукивая на листьях фокстрот  
и швыряя косточки в воду каналов.

Даль

чернела окном,  
укутанным плотной тканью.

Что же мне делать  
в такую ночь,  
когда надевают галоши?

Скрести душе подбородок,  
играть клавиры на нервах?  
Как устриц, глотать тоску?

И я пошел  
на Московскую улицу,  
в бар, где толкутся жулики и проститутки, –  
грустить.

Лампы Осрама –  
янтарно-желтые серьги –  
качались  
над моей головой.

Мороженое, тая  
оранжевым яблоком,  
расплывалось  
на блюдечке из хрусталя,  
как вытекший глаз.

Где-то вакхически  
выла цитра.

Ночь  
сжала овальный бар  
в объятиях свистящего черного шелка.

Ближайшая липа  
уронила свой лист  
на мой одинокий столик.

Я, взяв его в руки,

целовал долго-долго:  
потому, что было у меня взамен  
ничьих губ.

Губ?

Почему же я должен  
целовать только губы?

Почему не могу  
целовать  
этот столик,  
прохладный и чистый, как девичий рот;  
стену,  
ту самую стену,  
над которой нависла  
женская туша,  
белая, как перетопленный жир?

Ах, зачем губкам девушек  
отдана  
монополия  
на мой закипающий рот!

Должно быть, затем,  
чтобы я здесь сидел,  
один на один  
с неизбывной тоской,  
и слагал эти странные строфы

о себе,  
которому нравятся  
губы девушек больше всего на свете.

## 2

Рига.

Ночь.

Пробило  
двенадцать.

Оранжевые лилии фонарей  
внезапно увяли.

Тьма  
окутала лужи  
черным блестящим шелком.

Как же мне встретить утро?

Есть сливы,  
пощипывать вату воспоминаний,  
танго  
выстучать на зубах,  
из блюдец лакать тоску?

Как же мне встретить утро?..

И я пошел  
в сомнительный бар,  
где не было вощеного пола,  
где толпились воры и потаскушки, –  
грустить.

За столик  
в углу  
уселся,  
как причетник, постен и сух.

В бокале  
передо мной  
отцветало пиво  
оранжевой пеной,  
но губы мои  
были пустыми и жадными,  
как береста.

Зачем же я  
здесь сажу?

Зачем?

За окнами  
взмахом крыла

налетало время,  
когда девушки ждут  
жалящих поцелуев,  
прикосновений рук,  
что помогут им снять башмаки,  
расстегнуть на боку платье;  
и стянутые чулки,  
как брошенную змеиную кожу,  
раскидать по углам.

Зачем же я  
здесь сижу?

Что я – схоронил свою мать?  
Или меня предал друг,  
и я плачу?

Чак, что ты прячешь?..

Прячу?..  
Ну да!

Почему  
ты не можешь  
свою сверлящую, жгучую боль  
и печаль  
выкричать всем,  
как сирена с утеса?

Встань  
и скажи,  
сколь невыносимы  
для тебя эти пары,  
скользящие мимо,  
извиваясь с болезненным жаром,  
словно, танцуя, они бы хотели раздеться;  
что тебе уже некуда деться –  
скажи, что свет этот алый  
колет глаза твои  
острым кинжалом –  
скажи!

Что,  
молчишь,  
тебе страшно?..

Может, ты думаешь,  
что слова здесь  
уже не нужны,  
здесь,  
где повсюду плавает  
алый дым,  
визжит музыка,  
а девки шепчут,  
нет – орут  
алчным взорам мужчин  
только изгибами бедер,  
сиянием голых колен

и томленьем грудей, –  
так ты полагаешь?

Смешно!

Ты  
сидишь,  
постен и сух, как причетник,  
но – наблюдаешь,  
не пожал ли плечами хозяин,  
не смеются ли половые,  
и шлюхи,  
вон там,  
не качают ли жалостно головами:  
– Бедный поэт,  
он болен  
или ранен в неприличное место, –

Шут,  
хочешь пугалом стать?  
Встань ихвати,  
хвати кулаком по столу,  
так,  
чтобы пивная кружка  
исполнила пируэт,  
словно подстреленный заяц,  
чтобы подпрыгнула  
ваза с цветами  
и хрястнулась об пол,

сверкая осколками,  
хвати кулаком  
и скажи:

– Эй, вы,  
считающие,  
что я немощен,  
вы,  
преходящие,  
серая накипь,  
червивый плод,  
опавший до срока,  
вы –  
если я  
не запускаю глаза  
каждой встречной девчонке под кофту,  
если я  
не бросаюсь за каждым  
только что снятым с плиты поцелуем  
в ближайшую подворотню –  
вы – ничтожества – думаете,  
что я не знаю любви?  
Нет,  
я сам поклоняюсь идолу страсти,  
я люблю;  
люблю и буду любить всегда,  
но только  
в своей любви – я вечности жажду!

# Еврейка

В вагоне  
жарком, как калорифер,  
напротив  
меня  
сидела – еврейка.

Ее глаза  
были влажны,  
как два блестящих каштана,  
а бедра  
под юбочкой,  
короткой, как день декабря,  
перемалывали мое сердце.

Она широко улыбалась –  
мне, гою,  
и зубы ее пылали,  
как буквы,  
из которых сложена фраза:  
– Я страстная женщина.

Закон своих дедов  
она преступила  
легко,

как порог,  
как плевков на асфальте.

Я  
сел с нею рядом  
и взял  
в ладони  
под душистым пальто  
ее руку,  
цветущую  
как тюльпан.

И моя нога  
прилипла к ее колену,  
словно марка к конверту,  
словно к телу хвостик мочала.

Уже проклюнулось утро  
из огромного яйца ночи,  
когда мы оставили тихо  
небольшую гостиницу.

# Кольцо

И тут вошла ты  
Звериной походкой шлюхи,  
Чьи объяття чреваты гибелью.

Вошла ты.

На липовых листьях сияло дыханье вселенной.  
Где-то в подвалах,  
Под землей,  
С писком сновали мыши,  
А в шерстке их  
Сверкало золото стружек.

Вошла ты и сказала:

– Приду вечером. –  
В небесах хороводили птицы, как теплая кровь.  
Сквозь город, здания и пароходы  
Я  
Море вдохнул,  
И на губы мои  
Опустилась испарина облака,  
А на зубах хрустнул песок,  
В рот задутый ветром.

– Приду вечером. –  
Эти слова  
Рассыпались в сердце моем,  
Я трепетал паутинкой.

Вечер.

И я занавесил окна.  
Все.

Пряча от тебя сердце,  
Я втиснул его на полку  
Меж фолиантов седых,  
Памяток, выпитых рюмок.

Три долгих свечи –  
Красную, синюю, черную –  
Я разом зажег.  
Пышным желтым одеялом укрыл я постель,  
Пот, стенанья и страсть  
Всасывающим, словно губка.  
Туда же  
Придвинул скамью,  
Чтобы бросить на нее твое невесомое платье  
И тяжким пестиком медным прижать.

И тут вошла ты,  
Пышущая, словно сквозняк,  
Словно все покоряющий запах.

Вошла ты,

И жаром твоим  
Покрывало, опавшее на пол,  
Скрутило в берестяное кольцо.

Пламя в страхе сорвалось с фитилей  
И во мрак убежало.

Вошла ты  
И, с тихой улыбкой  
Взяв

Мое сердце с полки  
И подышав на него,  
Надела себе колечком на палец.

Колечком.

# Двухчасовой перевод из жизни А. Ч

Иди коснись и трогай щеки студёных стен  
пройдёт твоя тревога в иное перемен

У лестниц нету брода  
дыханье дышит в крен  
Напишемся по водам шагов дорожных в плен

В полусогнутой походке  
тихо-тихо кап да кап  
Близоруким гандикап звезд напихан

Леденцовый ветер ветви дышит нежностью знобит  
и прикладывает губы на стекловый перелив  
листьев

Знают чувства – запах трогать  
шанс растения дрожит  
я ему обязан многим и – родством души

Луч в упор ресница с глазом – альма матери тревог  
куст неопалимый разом  
вазу детских строк

Зачему сидел сутулый в лысых креслах кожи смяв  
замороженных амуров в стрелках брюк и шляпу сняв

Губы – ладанкою в запах  
губы лижут слово все  
Рифмы пресс на звездных лапах знак рисует

В меру Эдгар По пьянит  
ворон ворону кричит  
Перспективы горло  
хранит шведской мостовой гранит

# Вийону

## 1

Задвинье из районов где мнется дух вийонов  
Вино пролито на столе и глаз болит осатанев

Твоих бокалов медной чарки  
овчарки лают волк в овчарне  
и с песней воровской притон  
баллады и души понтон

Поверх годов барьеров – вечность  
хрустел стакан  
и много нас с фальцета перешли на бас  
проводим жизнь беспечно

Нет такой у которой семья  
позволяет пугать и быт  
Голос в хрип пожирает земля  
ненасытная вечность спит

Хилым – вопли аплодисмента  
фолиантам – подкожный слой  
запотевшие взгляды зло

Камни схвачены душ цементом

Столбенею кленово березой  
непростительно спящей листвы  
и пишу добиваясь родства  
и шипящие пальчиком розы

Топчешь крыши закатом истерик  
и заоблачно мысли в обвал  
Через ты поклоняюсь Вам  
умирая в кипящей постели

Эти тернии звезды венком  
украшают чело и забавно  
капли гнева на листике лавра  
текст чужой – с этой ролью знаком

## 2

Обхохотаться нож изъязв из тела  
стальных сердец перерубая нить  
Судьбою нехотя безумием свистела  
и приказала долго жить

Архивариусы – ложа и прикрас  
загадай на решку – выпал случай

Много их – и – вируса ползучей  
много нас

Что не так напишет недалеко  
смыслы путая котел ронял в очаг  
глаз анютиных за око око  
Я глядел – морщинкою сучал

У порошка отчаянья тоска  
сыплется в подолы и колени  
и ловят стрелы девственно олени  
Ныряю в омут – чувства полоскал

Незавидно твое меню  
Водопады твоей пропажи  
земляные орешки даже

Ведьмы с саранчою  
и опилки меди в меды  
и прожорливость причем

Ты концы отдал и выплыл  
горизонт качает нервы  
и туманы вязкой спермы  
души рёбра вздоха ниппель

И адамовым яблоком горло мозг надкушен и сердце мое  
белоснежно-смертельно белье и закат перепилит  
валторны воровства озорное вранье



# Стихи о том, где я буду сегодня вечером

Обернись – меняя позу  
Ум за разум, жадность плоти  
Сердце бешено колотит  
Фрейд – спасибо паровозу

Не изобретай позиций  
извращениями Видберг  
В бор манит безумий выбор  
ног перелистай страницу  
В преклонение ночей  
ты ничья и я ничей

Сядем молча – мы умеем.  
Галилео Галилеем. Бруно

Агрессивного флирта лодыжки  
В чресла желтую подушку  
любит плюшевая мышка

У вольфрамовой спирали  
месяц чешется спинами.  
Заманю – целую ручку

Продолжение по тексту:  
любит плюшевая мышка  
агрессивного флирта лодыжку  
в чресла желтую подушку

Льют дожди  
Медведь на уши  
И на рубеже стекло

Пресноводная – послушай  
Я люблю тебя стихами  
нежно хамствую руками  
я ласкаю терпсихор

У вольфрамовой спирали  
Месяц  
Чешемся спинами.

# Это ли счастье

Вдвоем

На диване, как французская каска, зеленом и жестком.

Сидели.

Еле слышно темнота пахла воском.

В книжках

На полке буква букве шептала,

И пылинка

За пылинкой устало в мир отплывала.

Ее сердце,

Я чувствовал, бьется в моем изголовье.

Ее губы

Мои обдавали, словно духами, кровью.

Это счастье?

Нет, просто уснули.

Нет, просто у глаз такой цвет.

Нет, просто сонм поцелуев на губах словно улей.

Это счастье?

Облака шли к ненастью,

С лица собираясь напиться,

Перехватывали дыханье, как птицу.

Это счастье?

Отчего же я не могу забыться,

Избыть

Этой комнаты

Склеп.

Я мир ощущал, как вбитый в сознание нож.

Я был слаб. Возможно.

Я был слеп. Возможно.

И я понял одно:

Всё,

Всё, чем я владел,

Ничтожно.

Да, но счастье?

Птичье крыло на миг занырнуло в окно.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.